

**ЛЕОНИД ГЕЛЛЕР**

Лозаннский университет  
(Лозанна, Швейцария)

ORCID 0000-0002-6996-7266  
e-mail: leonid.heller@unil.ch

**ИНАКОСТЬ МОСКОВИТА**

**MOSCOVITE'S OTHERNESS**

**Abstract**

The paper begins with describing of the problem of otherness in the Soviet context. It proposes the hypothesis that the system tried to erase the difference between the other and the self, the distant and the close, while continuing to cultivate the myth of the peaceful non-colonising expansion of the Russian Empire. The myth was adapted for the needs of the Soviet state as that of the 'Big Family'. The paper proceeds to analyse Alexei Ivanov's *Heart of Parma* (2003), an example of postcolonial novel, which exposes this myth and shows the Russian as Other and Stranger, if not Alien.

**Keywords:** The myth of Russian imperialism, Russian colonialism, Soviet colonialism, The Russian as Other, Postcolonial novel, Alexei Ivanov, *Heart of Parma* (Land of Legends).

Приглашение на эту конференцию<sup>1</sup> — за которое искренне благодарю организаторов — дало мне импульс вернуться к моим прежним работам, где я затрагивал и вопросы, близкие к общей теме

---

<sup>1</sup> Текст статьи представляет собой доклад, зачитанный на конференции „Dominantny tematyczne inności w dyskursach literackich (po 1989 roku)” (Siedlce, 28-29 września 2023).

инакости или инаковости; буду этим пользоваться в предлагаемом докладе.

Мне приходилось много заниматься советским социалистическим реализмом. На ход этих исследований в какой-то мере влияло присутствие разных республиканских культур и их отношение к доминирующей культуре русской. Здесь не место углубляться в проблематику; она сложна, статистика даже большого, казалось бы показательного корпуса этногеографических данных неоднозначна и требует дополнительных разъяснений и толкований. Об „инакости” в соцреализме не обязательно решает расстояние или отличие культур. Действие романа Василия Ажаева *Далеко от Москвы* (1948) происходит на дальневосточной стройке, а его название противоречит содержанию, где показана постоянная опекающая близость столицы. Это не парадокс, а „диалектика” центра и периферии, — основа концептуальной системы соцреализма, воинственное опровержение известной русской (по происхождению китайской) поговорки „до Бога высоко, до царя далеко”.

Вопрос о том, как русские воспринимали „иных”, легко поворачивается другой стороной. Как иные видят русских? Произведения республиканских литератур, что переводились на русский язык с главной целью выхода на всесоюзную арену, не могли не подчиняться внутренней и внешней цензуре, и производили „нормированный”, положительный образ. Мне не хватало компетенций выследить в нерусских литературах репрезентации русского отмеченные „настоящей” инакостью. Уточню. Говоря о репрезентации инакости я имею в виду не то, что подразумевается под терминами „национальные” или „культурные стереотипы”, а то, что составляет ее, инакости, глубинную семантику. Я вернусь к этой теме.

Инакость, особенно в колониальной практике, порождается насилием или его порождает. На определенное время важнейшим для русской культуры стал возникший в XIX веке и мало склонный к исчезновению миф об отличии Русской империи от всех других, в первую очередь, от Британской. Русская империя образовалась мирным путем. Николай Данилевский писал:

Никогда занятие народом предназначенного ему исторического поприща не стоило меньше крови и слез. Он [русский народ]

---

терпел много неправд и утеснений от татар и поляков, шведов и меченосцев, но сам никого не утеснял.<sup>2</sup>

Советская эпоха создает миф о старшем русском брате в семье народов, с вплетенными в него мотивами дружбы и универсализма русского отношения к миру. В ту эпоху не имели смысла вопросы о колониализме, постколониализме, ориентализме в перспективе, намеченной Эдуардом Саидом и другими учеными на Западе. Точнее, подобные вопросы серьезно обсуждались в послереволюционные годы, и считалось, что они нашли окончательное решение в рамках советской системы. Постсоветские гуманитарные науки вернули эти вопросы в свой кругозор и взялись за их изучение в российских и советских контекстах.

В замечательной статье о русской постколониальной литературе Илья Кукулин различает две разные программы колонизации: освоение, то есть экономическую экспансию на территории, предполагаемые „пустыми“, и аккультурацию, управление „чуждым“ населением занятых мест. Кукулин уточняет, что „в ходе аккультурации колонизированные народы обязательно экзотизируются“<sup>3</sup>.

Иначе говоря, с точки зрения колонизатора объект аккультурации обязательно преобразуется в „иного“. Возможно, пожалуй, толковать по-другому „многонациональную“ программу соцреализма и считать, что одной из ее задач была как раз нейтрализация экзотического и трансформация самого концепта *экзотики*. Экзотика, репрезентация *иного* в романтической раскраске составляла часть художественной системы; романы о далеких стройках на Севере, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, пролагали путь прозе соцреализма и, пересматривая, по меньшей мере декларативно, иерархию колониальных отношений, о которых говорил Саид, осуществляли трансформацию „иного“ в „своего“, „далекого“ в „близкого“.

Краткое замечание о постколониальной теории. С некоторых пор принято говорить о травме колониализма, которую с колонизированными разделяют и колонизаторы. Открытие следов этой травмы

---

<sup>2</sup> Николай Данилевский: *Россия и Европа* (1871) <https://www.booksite.ru/fulltext/yev/rop/ada/nil/3.htm#4> (10.10.2023).

<sup>3</sup> Илья Кукулин: „Внутренняя постколонизация“: *Формирование постколониального сознания в русской литературе 1970-2000 годов*, „Политическая концептология“ № 2, 2013, с. 154.

в произведении позволяет причислить его к постколониальному направлению в культуре. В этой на первый взгляд очевидной процедуре проблематично то, что под категории и травмы, и колониального процесса подводятся разные по силе и по своей природе явления. Так, давно замечено, что в России литература описывала русскую деревню как будто она была экзотической, завоеванной территорией. В обиход вошел термин „внутренняя колонизация”<sup>4</sup>. К слову сказать, точно так — в положительном тоне — называли модернизацию сельского мира уже в 1920 годы.<sup>5</sup> Экзотизирующий взгляд на свой народ иногда выдавался за характерную черту русского XIX века. Вряд ли это так. Читающей парижской публике шахтеры Золя казались, быть может, не менее экзотичными, чем жители антильских островов. Вместе с тем та же публика отдавала себе отчет в различии экзотизма тех и других, в первом случае он строится на дистанции социальной, во втором — расовой и географической. Важнейшая функция тяги к экзотике, ее эскапистская мотивировка громко заявляет о себе во втором случае и тушется в первом. Это верно и для России: несмотря на сходства, экзотизм колонизованных народов и русской деревни различны. Концепт „Иных” не должен захватывает всех, кто суть „не-Мы”. Мне близка позиция первого теоретика экзотизма Виктора Сегалена с его разделением понятий *Autre*-иноного, *Divers*-разного, многообразного, наконец, *Étranger*-чужого, которое не поддается редукции в понятность.

Постоянный фон моих поисков: интерес к утопии, научной фантастике, к фантастическим жанрам. Смысл их существования составляет репрезентация иноного, инакого. Более того, многие классические вещи представляют собой точную метафору колонизации. Так можно рассматривать, скажем, *Войну миров* Уэллса, где марсиане стремятся завоевать Землю. А *Марсианские хроники* Рэя Бредбери показывают глазами марсиан как инакость, чужесть людей, землян-колонизаторов, так и постколониальную травму и тех, и других.

---

<sup>4</sup> Александр Эткинд: *Фуко и тезис внутренней колонизации: постколониальный взгляд на советское прошлое*, „Новое литературное обозрение“, 2001, n°49.

<sup>5</sup> См. напр., Алексей Гастев: *Наши задачи* (1921), <https://traumlibrary.ru/book/gastev-kak-nado-rabotat/gastev-kak-nado-rabotat.html> (10.10.2023).

В последнее время я меньше слежу за тем, что происходит в этой литературе. Однако не так давно в руки мне попал написанный в 2000 и увидевший свет в 2003 году роман Алексея Иванова *Сердце Пармы*<sup>6</sup>. Исторический роман с сильным уклоном в фантастику, роман о колонизации, об инакости русских, увиденных иными, он вполне соответствует проблематике и периоду, на которые направлено внимание нашей конференции.

Алексей Иванов — известный уральский писатель; эта его книга имела большой читательский успех, повлияла на культурную жизнь всего региона, ее много обсуждали, по ней поставили фильм. В скобках замечу: кажется странным, что ее еще не перевели ни на английский, ни на французский (хотя есть переводы других вещей писателя). Сегодня она кажется особо актуальной; разговор о ней поведет поведет меня к завершению доклада.

*Сердце Пармы* повествует о том, как с конца XIV-го до середины XV века Московская Русь постепенно завладевает пермским краем, подчиняя с большой кровью себе более или менее враждебные языческие племена и обращая их в христианскую веру. Роман построен по освященному Вальтером Скоттом канону, смешивая героев и события реальной истории с вымышленными. В его центре — историческая фигура, удельный князь Михаил Великопермский, который защищает свои земли от посяганий Москвы; любовный сюжет, бурная связь князя и пермяцкой колдуньи, осложняется „воспитанием” героя, его эволюцией от принятия пермяцкой инакости к солидарности с ней до восстания против Москвы.

Изображаемая в романе действительность то и дело либо смещается пророческими видениями, снами, сказочными и мифическими мотивами, либо мерцает в нелинейных сюжетах, что придает ей черты альтернативной истории. Похоже, что монтажную динамику рассказа, подчеркнутую визуальность, натурализм батальных сцен инспирировал голливудский постмодернизм. Тогда как богатство местного материала и языка подводит роман к границе областной литературы. Впечатление многомерности текста усиливает языковая стилизация. Русские скудельники, воеводы, епископы, князья, пер-

---

<sup>6</sup> Алексей Иванов: *Сердце Пармы*. Москва 2003 (далее цитирую это издание, в скобках указаны страницы книги).

мяцкие шаманы и воины, вогульские каны и колдуны, почти все они наделены своими голосами. Авторская речь, то современная, то архаизированная, насыщенная эпическими и поэтическими интонациями, сопровождает восприятие персонажей, которые видят себя и друг друга по-разному.

Более, чем экзотичными предстают пермяки „русскому глазу”.

Чердынь казалась епископу не людским поселением, а каким-то логовом чуди (93).

[Пермяки...] были в темных, лохматых одеждах из шкур, [...] а потому походили на зверей, вставших на задние лапы, или на оборотней, уже превращающихся в людей, но еще не до конца превратившихся, а может, и на диких духов своих буреломных лесов и болотных бучил (41).

Экзотичность пармы, уральского соответствия тайги, и ее обитателей подчеркивается, между прочим, нагромождением коми-пермяцких и местных слов и мифологических имен.

[...] Нерусской, нечеловеческой жутью повеяло от истукана – жутью пермяцких ропочажников и лысых вогульских тумпов, что встают над гнилыми болотами, тьмою урёмной глухомани, где еловые корни, как змеи, оплетают белые черепа валунов, стужей снеговеев, в которых [...] проносится Войпель, пермский Перун, бог Северное Ухо (81).

Все, чего касается пермяцкая культура, она меняет на свой лад.

Он перевел молитвы на пермский язык, и в них бог казался каким-то лесовиком, который за почитание дарует глухарей и песцов [...] В этом мире даже Христос принимал облик идола (94-95).

Для многих русских разность мира коми не подлежит редукции. Главным сюжетом романа может казаться укрощение цивилизацией дикого первобытного хаоса — по шаблону одной из разновидностей вестерна. Но это не так. Мир пермяков не хаотичен, он очень упорядочен, но управляется своими законами.

Пермяки не были детьми. Просто мир в их глазах выглядел совсем не так, как в глазах самого Питирима, или князя Ермолая... (95)

Они [...] вроде люди как люди, что в Твери, то и в Перми, и вдруг видишь, что они совсем иные, а какие – мне никогда не понять (297).

Решение в романе есть: инакость объясняется не столько даже связью с землей и природой, сколько полным слиянием с ними. Изложению мифологии коми посвящены страницы романа, полные поэзии.

Пермяки мало похожи на добрых дикарей из просветительского мифа. Но их мир противостоит миру русских, в котором доминируют борьба за власть и коррупция. Пермяки „не делали свою жизнь”: „их судьба шла сама по себе; и к силе они не лепились – все равно судьба не минует.” Именно поэтому для русского воеводы они „стояли как бы за обочиной человеческого, не имели никакого значения – не друзья, не враги, не холопы. Люди, а вроде и не люди” (330).

Такой взгляд оправдывает экспансионную мотивировку колонизации: туземец перестает даже быть иным, перестает быть врагом, он невидим, земля, на которой он живет, пуста. Но в первых главах романа центральной является точка зрения вогульского (то есть мансийского) князя-”хумляльта” — наполовину человека-наполовину духа, — который не может умереть прежде, чем не выполнит своей мистической миссии сопротивления русскому завоевателю. Москва завоевывает парму. Парма защищается.

Предельно кратко герой романа поясняет разницу в отношении к Перми между Новгородом и Москвой: „Новгород отнимает соболей, а Москва – свободу” (357).

Князь Московский хочет всю землю шапкой Мономаховой прихлопнуть! Сам и пальцем показать не сможет, в какой стороне Пермь, а гребет, гребет, гребет под себя – леса, реки, людишек, соболей, золото!.. (442)

Москва ведет сознательную, амбициозную, рассчитанную на долгий срок политику. Великий князь (уже царь) Иван III говорит:

[...] Я хочу из единой Руси такую глыбу сделать, чтобы все – и ляхи, и свеи, и турки, и татары, – ежели ее разгрызть захотели, то зубы сломали бы [...]. Я хочу всю Русь перетрясти, со всех князей шапки посшибать, вечевым колоколам языки вырвать, все народы перемешать, чтобы по всем нашим землям от Смоленска до Чердыни не было чердынцев, тверяков, московитов, не было чудинов, литвинов, русинов, а все были русские!...Единый порядок – я еще Русскую Правду напишу! – единый народ и единый князь – я! (623-624)

Сила, прямое насилие – главное оружие Москвы в этом процессе. Тем более любопытно, особенно в свете сегодняшних событий

поучение загадочного пермяка-бродяги: „Вы, московиты, больны. [...] Русь может побеждать слабых – нас, к примеру, но пока она не излечится, сильные будут ее бить, как некогда били татары” (570).

Особое место в романе занимает вопрос религии. Для пермяков, верящих в реальность своего мира, христианство несет с собой его обеднение.

[...] Русы сами объединяют себя и своего бога и всегда несут его в себе таким, каковы они сами! Это не вера, пам, а безверие! Это не воля земли, а желание человека! Русы не принесут нам другого бога, как думаешь ты, – они просто уничтожат всех богов, и будет пустота! (30)

*Сердце Пармы* упрекали в антихристианских мотивах. Упрек резонный. В приведенном отрывке как будто проговаривается мысль о том, что необходимый для самоопределения „Другой” отсутствует в православии. Колонизаторская подоплека христианизации раскрывается в романе с большой силой, и походя разрушается миф „апостола зырян” (то есть коми) святителя Стефана Пермского. Как говорит мудрый игумен:

[Стефан] церковное имя опорочил! Он с мирским делом сюда под пастырской личиной проник! Хотела Москва пермские земли у Новгорода оттягать, да боялась в открытую: Мамай шел! Вот она и заслала сюда Стефана воду мутить! (781)

Епископ Иона, реальное историческое лицо, один из трех пермских святителей, – самый черный, самый беспросветно отрицательный персонаж романа. Он совершает одно преступление за другим, кражу, поджог, ряд убийств; именно по его доносу Москва высылает военную экспедицию, завершленную разрушением и окончательным подчинением пермского края. Иона, которого прозывают „Пустоглазым”, олицетворяет худшее в религиозном фанатизме.

Наверное, Иона был таким же язычником, как и пермяки. Он верил в изначальную заданность всего на свете, в невозможность выбора. Но, в отличие от пермяков, вера епископа была проще. Не загадочные и грозные судьбы; не боги, одновременно злые, добрые и равнодушные; не тайные соки земли, настоянные на зацветшей крови погребенных предков; [...]. Бог, один-единственный бог – владыка (452).

Многие другие русские персонажи романа отмечены отрицательно, это воры, обманщики, предатели, убийцы; таких отрицательных героев совсем нет среди пермяков. Явно же положительны те из



героев, кто как-то связан с двумя мирами, служит посредниками между ними.

Можно описать категорию экзотического, опираясь на серии выделенных таким образом существенных для нее понятий: *близкое//далекое; свое//чужое; подобное// иное; обыденное//неожиданное; понятное//непонятное; привычное// странное*, и т.д. Не столько отсылка к национальным стереотипам, сколько именно такая „концептуальная проксемиа” работает в тексте, причем эти категории проявляются градуально, раскрываясь с разной интенсивностью, и меняясь в зависимости от обстановки при обрисовке лиц и ситуаций.

Заканчивается роман возвращением к Руси. Москва воплощает историческое зло, но только до определенного момента. Выше нее будет стоять — в согласии с проектом Ивана III — Россия. Христианизация все же нужна, она цементирует народы. Колонизируемые и колонизаторы разделяют травму, править Пермским краем будет сын русского князя и чердынской, пермяцкой ведьмы. Противостояние миров разрешается их слиянием.

Финал подозрителен по комформизму, который как бы противоречит трансгрессивной злободневности всего романа. Как подозрительна выраженная в финале князем Великопермским концепция связи самоидентичности, земли и крови:

Русский народ еще только рождается, принимая в себя многие малые народы — и нас, и зырян, и печору, и вотяков, и черемисов, и новгородцев... Мы — еще пермяки, но дети наши будут называть себя русскими. ...Эти пермяки, конечно, не станут русскими, и дети их не станут, и, наверное, даже правнуки еще не станут. Но кто-то потом все же станет... И придется заплатить очень, очень дорого. Они, потомки, потеряют своих князей, своих богов, свои имена, сказки, может быть, и свою память, свой язык... Но они сохраняют нечто большее — свою землю в веках, которую не вытопчут конницы враждующих дружин, и свою кровь в поколениях, которая не прольется впустую на берега студеных рек (789-790).

Можно сомневаться как в самой этой концепции, так и в том, насколько завершение книги созвучно „анти-московитскому” пафосу всего ее содержания; нет сомнения, однако, что *Сердце Пармы* — хороший пример постколониального романа, в котором предугадана актуальность. В нем русский увиден извне и, вопреки некогда обязательному стереотипу, „московит” показан как Иной, если не просто Чужой.

## REFERENCES

- Гастев Алексей: *Наши задачи* (1921).  
<https://traumlibrary.ru/book/gastev-kak-nado-rabotat/gastev-kak-nado-rabotat.html> (10.10.2023).
- Данилевский Николай: *Россия и Европа* (1871) <https://www.book-site.ru/fulltext/yev/rop/ada/nil/3.htm#4> (10.10.2023).
- Иванов Алексей: *Сердце Пармы*. Москва 2003.
- Кукулин Илья: “Внутренняя постколонизация”: *Формирование постколониального сознания в русской литературе 1970-2000 годов*, „Политическая концептология“, № 2 (2013).
- Эткинд Александр: *Фуко и тезис внутренней колонизации: постколониальный взгляд на советское прошлое*, „Новое литературное обозрение“, № 49 (2001).